

Первая смерть

Много я видел человеческих смертей на Севере – пожалуй, даже слишком много для одного человека, но первую виденную смерть я запомнил ярче всего.

Той зимой пришлось нам работать в ночной смене. Мы видели на черном небе маленькую светло-серую луну, окруженную радужным нимбом, зажигавшимся в большие морозы. Солнце мы не видели вовсе – мы приходили в бараки (не домой – домом их никто не называл) и уходили из них затемно. Впрочем, солнце показывалось так ненадолго, что не могло успеть даже разглядеть землю сквозь белую плотную марлю морозного тумана. Где находится солнце, мы определяли по догадке – ни света, ни тепла не было от него.

Ходить в забой было далеко – два-три километра, и путь лежал посреди двух огромных, трехсаженных снежных валов; нынешней зимой были большие снежные заносы, и после каждой метели прииск отгребался. Тысячи людей с лопатами выходили чистить эту дорогу, чтобы дать проход автомашинам. Всех, кто работал на расчистке пути, окружали сменным конвоем с собаками и целыми сутками держали на работе, не разрешая ни погреться, ни поесть в тепле. На лошадях привозили примороженные пайки хлеба, иногда, если работа затягивалась, консервы – по одной банке на двух человек. На тех же лошадях отвозили в лагерь больных и ослабевших. Людей отпускали только тогда, когда работа была сделана, с тем чтобы они могли выспаться и снова идти на мороз для своей «настоящей» работы. Я заметил тогда удивительную вещь – тяжело и мучительно трудно в такой многочасовой работе бывает только первые шесть-семь часов. После этого теряешь представление о времени, подсознательно следя только за тем, чтобы не замерзнуть: топчешься, машешь лопатой, не думая вовсе ни о чем, ни на что не надеясь.

Окончание этой работы бывает всегда неожиданностью, внезапным счастьем, на которое ты как будто никак и не смел рассчитывать. Все веселы, шумны, и на какое-то время будто нет ни голода, ни смертельной усталости. Наскоро построясь в ряды, все весело бегут «домой». А по бокам поднимаются валы огромной снеговой траншеи, валы, отрезающие нас от всего мира.

Метели давно уже не было, и пухлый снег осел, поплотнел и казался еще мощнее и тверже. По гребню вала можно было пройти не проваливаясь. Оба вала в нескольких местах были прорезаны перекрестной дорогой.

Часам к двум ночи мы приходили обедать, наполняя барак шумом намерзшихся людей, лязгом лопат, громким говором людей, вошедших с улицы, говором, который лишь постепенно стихает и глохнет, возвращаясь к обычной человеческой речи. Ночью обед был всегда в бараке, а не в мерзлой столовой с выбитыми стеклами, столовой, которую все ненавидели. После обеда те, у кого была махорка, закуривали, а тем, кто махорки не имел, товарищи оставляли покурить, и в общем выходило так, что «задохнуться» успевал каждый.

Наш бригадир, Коля Андреев, бывший директор МТС, а сущий заключенный, осужденный на десять лет по модной пятьдесят восьмой статье, ходил всегда впереди бригады и всегда быстро. Бригада наша была бесконвойная. Конвоя в те времена не хватало – этим и объяснялось доверие начальства. Однако сознание своей особенности, бесконвойности для многих было не последним делом, как это ни наивно. Бесконвойное хождение на работу всем по-серьезному нравилось, составляло предмет гордости и похвальбы. Бригада действительно и работала лучше, чем потом, когда конвоя стало достаточно и андреевская бригада была уравнена в правах со всеми остальными.

Нынешней ночью Андреев вел нас новой дорогой – не низом, а прямо по хребту снежного вала. Мы видели мерцанье золотых огней прииска, темную громаду леса влево и сливавшиеся с небом далекие вершины сопки. Впервые ночью мы видели свое жилье издали.

Дойдя до перекрестка, Андреев вдруг круто повернул вправо и сбежал вниз прямо по снегу. За ним, покорно повторяя его непонятные движения, посыпались гурьбой вниз люди, гремя ломками, кайлами, лопатами; инструмент никогда не оставляли на работе, там его крали, а за потерю инструмента грозил штраф.

В двух шагах от перекрестка дороги стоял человек в военной форме. Он был без шапки, короткие темные волосы его были взъерошены, пересыпаны снегом, шинель расстегнута. Еще дальше, заведенная прямо в глубокий снег, стояла лошадь, запряженная в легкие сани-кошевку.

А около ног этого человека лежала навзничь женщина. Шубка ее была распахнута, пестрое платье измято. Около головы ее валялась скомканная черная шаль. Шаль была втоптана в снег, так же как и светлые волосы женщины, казавшиеся почти белыми в лунном свете. Худенькое горло было открыто, и на шее справа и слева проступали овальные темные пятна. Лицо было белым, без кровинки, и, только взглядевшись, я узнал Анну Павловну, секретаршу начальника нашего прииска.

Мы все знали ее в лицо хорошо – на прииске женщин было очень мало. Месяцев шесть назад, летом, она проходила вечером мимо нашей бригады, и восхищенные взгляды арестантов провожали ее худенькую фигурку. Она улыбнулась нам и показала рукой на солнце, уже отяжелевшее, спускавшееся к закату.

– Скоро уже, ребята, скоро! – крикнула она.

Мы, как и лагерные лошади, весь рабочий день думали только о минуте его окончания. И то, что наши немудреные мысли были так хорошо поняты, и притом такой красивой, по нашим тогдашним понятиям, женщиной, растрогало нас. Анну Павловну наша бригада любила.

Сейчас она лежала перед нами мертвая, удушенная пальцами человека в военной форме, который растерянно и дико озирался вокруг. Его я знал гораздо лучше. Это был наш приисковый следователь Штеменко, который «дал дела»

многим из заключенных. Он неутомимо допрашивал, нанимал за махорку или миску супа ложных свидетелей-клеветников, вербуя их из голодных заключенных. Некоторых он уверял в государственной необходимости лжи, некоторым угрожал, некоторых подкупал. Он не давал себе труда раньше ареста нового следственного познакомиться с ним, вызвать его к себе, хотя все жили на одном прииске. Готовые протоколы и побои ждали арестованного в следственном кабинете.

Штеменко был именно тот начальник, который при посещении нашего барака месяца три назад изломал все арестантские котелки, сделанные из консервных банок, – в них варили все, что можно сварить и съесть. В них носили обед из столовой, чтобы съесть его сидя и съесть горячим, разогрев в своем бараке на печке. Поборник чистоты и дисциплины, Штеменко потребовал кайло и собственноручно пробил днища консервных банок.

Сейчас он, заметив Андреева в двух шагах от себя, схватился за кобуру пистолета, но, увидев толпу людей, вооруженных ломami и кайлами, так и не вытащил оружия. Но ему уже крутили руки. Это делалось со страстью – узел затянули так, что веревку потом разрезать пришлось ножом.

Труп Анны Павловны положили в кошевку и двинулись в поселок, к дому начальника прииска. С Андреевым туда пошли не все – многие бросились скорей в барак, к супу.

Долго не отпирал начальник, разглядев сквозь стекло толпу арестантов, собравшихся у дверей его дома. Наконец Андрееву удалось объяснить, в чем дело, и он, вместе со связанным Штеменко и двумя заключенными, вошел в дом.

Обедали мы в эту ночь очень долго. Андреева водили куда-то давать показания. Но потом он пришел, скомандовал, и мы пошли на работу.

Штеменко вскоре осудили на десять лет за убийство из ревности. Наказание было минимальным. Судили его на нашем же прииске и после приговора куда-то увезли. Бывших лагерных начальников в таких случаях содержат где-то особо – никто никогда не встречал их в обыкновенных лагерях.

1956

Шаламов В.Т. Собрание сочинений в четырех томах. Т.1. - М.: Художественная литература, Вагриус, 1998. - С. 90 – 93

Источник:

<https://shalamov.ru/library/2/20.html>